

## ГОЛУБОЙ И КРАСНЫЙ ЦВЕТОК. (ПАМЯТИ ГАРШИНА)

Многое переменилось за эти четверть века, с тех пор как раздался "странный стук", как сказал поэт о падении Гаршина с площадки высокого этажа каменной лестницы - вниз, в пролет, - с тех пор, как он разбился насмерть.

Что сохранилось от него? его рассказы, которые уходят или ушли уже в историю литературы? воспоминания -т в далеких и уже темных углах памяти тех, кто его лично знал? И еще - его нежный облик с необычными "лучистыми" глазами, - в детстве лицо Иоанна Крестителя - со страдальческой улыбкой, с каким-то особым предчувствием - неизбежного рокового мученичества и конца? Вспомнит ли кто-нибудь об нем в этом году, когда была разрезана репинская картина, где в лице царевича сохранился его - этот залитый кровью - облик?

Какое странное совпадение! И есть еще одно, о котором тоже не думали, повторяя повсюду и столько раз название шумного романа, заинтересовавшего всех в этом году, - что это название гаршинского рассказа "То, чего не было!" Но совпадение здесь глубже, потому что совпадение с названием, конечно, только случайное: важно другое, то, которое заставляет вспомнить о Гаршине, как человеке, не прежних, отошедших в историю, но наших последних или предпоследних дней, - потому что есть внутреннее сродство между той проблемой террора, которую ставит современный писатель в своем романе, и Гаршиным, которого преследовало безумное видение "красного цветка". Но в видении Гаршина была не одна революционная тяга, в нем соединились, кажется, все страдания, какими болеет мир и совесть, вся кровь, какая в мире и людьми проливалась и проливается...

Когда вспоминаешь о писателе, так рано и так страшно умершем - и таком душевно-прекрасном, не хочется думать о том, был ли это большой или малый талант, какое его место в литературе, - критиковать и оценивать, - хочется восстановить в своей и общей памяти его человеческий облик, его личность, - его душу, чтобы она не была забыта, чтобы вспомнили и, может быть, опомнились - над своим холодом и бесчувствием.

Такие души нельзя забывать ни сегодня, ни завтра - в эти дни, в которые мы живем, в дни великого ущерба личности, увяданья душевной красоты и больше всего, утраты лучшего из свойств русской национальной стихии - беззаветности. Такие, как он, пусть встают все настойчивее, все неотступнее в нашей памяти!

В истории русского общества были *святые*: в этом его надежды и его будущность, - и одним из этих святых был Гаршин. Талантливый ли он был писатель, хороший ли стилист, умный ли человек? - как это все мелко, когда одно несомненно, когда мы говорим о святом сердце, которое билось среди нас так тревожно, о том, из чьих глаз лилась самая большая любовь к людям! Как это далеко, и как это нужно, как гибнем мы все, потому что такая любовь, действительно, уходит, уходит куда-то в историю, в историю литературы -

неужели навеки? тогда мы все погибли! Но если мы еще способны составлять жития святых, если мы помним их, то они еще будут среди нас, они еще придут. И надо верить, что только этому, сегодняшнему - тягостному времени ущерба и падения, отказано в поколении их. Но оно пройдет, - и они придут.

В этом году, осенью, будут вспоминать еще об одном святом нашего общества - Станкевиче, в день столетия его рождения. Но какая разница между одним и другим! Какая бездна легла между этими двумя эпохами - Станкевича и Гаршина, и как надо одуматься - перешли ли мы эту бездну? перекинули ли мы над нею мост? Идем ли мы по этому мосту? или дрожим над бездной?

Еще один образ, и я выражусь прямо, уже без всяких образов. Станкевич "небесный" (так его называли), романтический и томный, последний из романтиков, какие бы вихри ни бушевали вокруг него (ведь в его кружке были такие бурные и буйные, как белинский, К. Аксаков, Бакунин) и какие бы грезы ни переживал он внутри себя, изысканно колеблясь между двумя мироощущениями, так же, как и между двумя или тремя влюбленностями, оставался неизменно "небесным", "небесной верен красоте, непобедим земною", верен "голубому цветку", который и манил его и томил, и очаровывал, и опять томил, не причиняя никакой живой боли.

Прошло полвека (1840 и 1888 г.) с тех пор, как Станкевич умер за границей, с покойной и ровной улыбкой на губах, словно уснул, - до того "странныго стука" (слова Полонского), когда Гаршин, не выдержав великой боли, разбился насмерть.

Сумасшествие? Но за несколько лет до этой смерти, "в здравом уме и твердой памяти", Гаршин рассказал в своем знаменитом рассказе, как душевнобольной погнался за красным цветком, который томил его до смертной боли, пока сам не погиб, достав его и прижав к груди: рассказал об этом романтическом порыве с такой внутренней силой, что все узнали в этом безумном тяготении к красному цветку собственные душевные муки Гаршина. Где здесь граница между безумием и разумностью? Но уже, во всяком случае, не сумасшествием, а живым и действительным делом человеческой совести - было отправление Гаршина на турецкую войну, чтобы страдать и умирать вместе со всеми русскими солдатами, потому, что он не мог слышать, видеть издали - и быть там же, вместе, не принять участия, не гореть, не тонуть вместе, не проливать кровь, хотя вся его боль была в том, что люди страдают, гибнут, проливают кровь. Это был призыв одного из красных цветов, причинивший реальную боль совести. Сумасшествие ли было, когда он, безумный или полубезумный, побежал ночью к Лорис-Меликову с такой силой общественной, человеческой, братской страсти, что его допустили к министру посреди ночи, после только что совершившегося покушения на него, и когда он его убеждал в течение нескольких часов в необходимости "всепрощения и примирения"? Это был опять призыв красного цветка - бред, в котором, однако, больше правды, чем в обычной правде, горько названной поэтом: "растлевающим, пошлым опытом, умом глупцов"...

Голубой цветок сменился красным. Завяли ли голубые цветы? Сорвали ли мы красные?

В эти полвека - от Станкевича до Гаршина - мы оставили на одном берегу голубые цветы и пошли за красными - на другой. Они не новые, давние и вечные - и голубые, и красные. Только то томление, которое было по голубым цветам несравненно по своей боли с томлением по красным. В глазах Гаршина было уже не мечтательное искание правды, и на губах его было не светлое пренебрежение к грубости жизни, как у Станкевича: его "лучистые" глаза излучали живую любовь к людям, которая глубже всякой отвлеченной правды. В углах его рта была страдальческая - за людей - улыбка, и он не мог оставаться в стороне, он не мог не принимать участия, - он рвался в самую середину человеческих мук. Когда ему напоминали об интересах отвлеченного знания, он с болезненным раздражением отвечал: зачем? - на все, что не шло прямо к людям, чтобы разделять их страдания и помогать - просто быть вместе, принять долю на себя. Он каждое мгновенье напряженно чувствовал, что не принимает участия, оставаясь в стороне, не брать на себя, - это значит, тем самым, давать согласие - согласие на то, чтобы красные цветы продолжали томить, причинять боль, сжигать человеческие сердца. Он хотел одного, - чтобы были сорваны все красные цветы, все без исключения, хотел сжать их в своих руках, прижать к груди и умереть с ними за людей. Его жизнь была *житием*, а не жизнью, одним мученичеством, подвигом совести. И как можем мы забыть этот подвиг, эти порывы, эту личность, эту душу? Разве не должны мы призывать таких, как он, чтобы они пришли к нам, - с такой же любовью, с такой же горящей совестью, таких святых? И верить, что, когда такие, как он, опять придут, - кончатся дни ущерба личности - и начнутся дни "человеческие"?